

*Уважаемая главный редактор! Я житель Тюмени. Врач. Прочел номер вашего журнала с воспоминаниями моего старинного товарища К. В. Кима. Это он прислал мне тот номер вашего журнала. Понравился формат журнала в том плане, что он отличается от современных гламурных изданий своей традиционностью в ностальгическом смысле. И я набрался смелости обратиться к вам с просьбой посмотреть одну вещь, которую я написал. Боюсь, что это может оказаться «неформатом», но мне было бы достаточно вашего суждения.*

*С уважением, Александр Ербактанов*

## **Вторая осень**

События эти происходили давно, и теперь, поскольку я к ним возвращаюсь, они начинают приобретать для меня статус события, то есть сосуществования с моим бытием. Только тогдашним или сегодняшним?

Все, что происходит с нами, с течением времени, постепенно начинает удаляться от теперешней нашей жизни, и, удалившись достаточно, в зависимости от своего значения, витает где-то в стратосфере. Заметные события, например, окончание школы, института, женитьба, рождение детей и подобное, находятся всегда рядом и составляют атмосферу. (А может, со временем, тоже удалятся?)

Но далекая стратосфера, подобно Солярису, начинает отбирать и концентрировать, непонятно по какому принципу, некоторые из них и транслировать на экран моей памяти, и тогда начинается это мерцание, мельтешение, постепенное выстраивание их в определенной черед, взаимосвязи которые скорее определены Солярисом, чем мной, потому как я эти связи сразу не смог бы сформулировать четко. Но что-то в этих частых появлениях начинает тревожить, и все это вновь и вновь крутится в голове, чаще перед сном, в вязком, вялом, засыпающем сознании.

От частых и бесплодных прокручиваний эти события начинают утрачивать качество реального, некогда бывшего, и теперь я сам не разберусь – было ли это на самом деле?

И вот долгая болезнь, затем медленное выздоровление, то есть, выбывание на некоторое время из этой каждодневной гонки, иногда бессмысленной и безмысленной – дали возможность сесть и попытаться выстроить свои неясные ощущения и видения в некоторой последовательности.

Это было более четверти века назад. Возникает уголок большого больничного парка. Он находится под сенью старых тополей, растущих давно без надзора – никто их не стрижет, не вырубает сухие ветви, отчего верхушки их начали уже редеть, но все равно вместе они дают такую густую тень, что даже в жаркие летние дни под ними сохраняется сырость, и земля остается голой и глинистой, и больные поэтому редко приходят сюда посидеть в тени. Через этот тополиный парк проходит аллея, по бокам которой растут кусты выше роста человека, тоже неухоженные, поэтому аллея эта похожа на тоннель длиной шагов в сто – сверху переплетение ветвей деревьев.

Если пройти этим тоннелем со стороны больничного двора, то выйдешь на небольшую асфальтовую площадку перед двухэтажным непримечательным зданием. Впрочем, если присмотреться, можно увидеть некоторые его особенности. Первый этаж – строение прошлого века: добротное, красной кирпичной кладки, кладка аккуратная, швы между кирпичами ровные, четкие, кирпичи плоские, один к одному, окна поверху закруглены, закругления выложены ровным венчиком из кирпичей побольше, таких же ровных и гладких, рамы в окнах фигурные.

Центральный вход окаймлен выступом в виде арки, поверху также закругленным. На колоннах арки фигурные кронштейны, вероятно, на них висели когда-то фонари. Теперь же над дверью, под аркой, вбит металлический штырь и висит на нем жестяной колпак с лампочкой. Крыльцо широкое, невысокое, в две-три ступени, мраморное.

Второй этаж – произведение конца пятидесятих годов века нынешнего. Кирпичная коробка без затей, посаженная на старое здание. Кладка неровная, кирпичи с трещинами, цемент щерится между кирпичами провалами и выступами, окна квадратные, крыша четырехскатная под листовым железом, крашенная. Было как-то в городе небольшое землетрясение, и старое здание при этом треснуло, трещина прошла через крыльцо, арку, дошла до пристройки, и, как ни странно, второй этаж не пострадал совсем. Аллея выходит прямо к центральному входу – широкой двустворчатой двери, обитой дерматином. Справа между домом и глухим забором – проезд во двор. Проезд длиной до тридцати шагов, в длину дома, в конце которого открывается небольшой двор, куда выходит задняя дверь и высокое кирпичное крыльцо без перил. В конце проезда, справа, начинается палисадник – дворик маленького деревянного домика, вросшего в землю, с крохотными пристройками: сенями, кладовкой, дровяником. В дальнем левом углу двор замыкается навесом, дощатой кладовкой, справа – глухим, местами заваливающимся забором, залатанным ржавой жестью, с торчащими неровно досками. Забор наполовину зарастает бурьяном, лебедой. В центре двора – теннисный стол из досок, на козлах, с загнутыми от стояния под открытым небом углами, как у китайской пагоды. Вот, если можно так определить, внешние декорации. Это патолого-анатомическое отделение областной клинической больницы и вместе – судебно-медицинский морг. Сюда, в это здание, раз в три дня, попеременно с ребятами из нашей группы я приходил к 16 часам на дежурства – до 7 часов утра.

В тот день, вопреки сложившемуся порядку, вернее – беспорядку опаздывать на 30 – 40 минут, я явился вовремя. Федор Казимирович, обычно терпеливо ожидавший нас наготове, сидел в своей комнате и переобувался. Сквозь белый пушок на его голове просвечивал желтоватый череп. Он натянул сапог, встал, притопнул и прошелся передо мной туда-сюда. Сапоги на нем были мягкой черной кожи на светлой подошве. Рядом стояли растоптанные кирзовые рабочие его сапоги. И еще на нем были темно-синие галифе, тоже только что переодетые – рабочие брюки лежали рядом на стуле.

Федор Казимирович – заика. Было мучительно смотреть, как постепенно наливались кровью его глаза и лицо, когда он не мог перевалить через какой-нибудь звуковой барьер, таратил глаза и махал рукой. Самыми заметными на его лице были пышные, белые с желтизной усы, лихо подкрученные вверх. С этими усами была интересная история. Однажды он выкрасил их в черный цвет. Вероятно, его возбудили постоянные похвалы его внешности, которыми намеренно потчевали его зубоскалы-эксперты. Он действительно неплохо выглядел в свои 75 лет: румяный, в белом пушке.

Это была жуткая метаморфоза. На привычном румянном личике пожилого человека, бесцветные глазки которого выражали самодовольство и уважение к себе, черные зловещие эти усы вдруг проявили черты, которые, как мне казалось, не могут не появиться у человека, проработавшего на этом месте в течение сорока лет. Вероятно, я их увидел один, потому что все очень веселились, шутили по поводу его «омоложения», а, впрочем, если даже видели, то что же оставалось делать, не травить же человека, ведь я тоже смеялся. Не выдержав всеобщего веселья, Федор Казимирович сбрил злополучные усы, и тут перед нами предстал жалкий человечек с

красными глазами кролика. Личико с кулак, нос с сизыми прожилками, как у алкоголика, а Федор Казимирович не пил, гордился репутацией трезвенника. «Сызмальства – только по праздникам», – говаривал он. Он стал тих и незаметен.

Итак, он притопнул сапогами, прошелся еще раз передо мной, надел защитного цвета френч и такую же фуражку с высокой тульей, и вот передо мной – озабоченный хозяин с прежними белыми усами, хозяин, который вынужден отлучиться, оставив хозяйство в ненадежных руках.

А накануне случилось вот что. Вечером, в сумерках уже, мой напарник Валентин, войдя в секционный зал, чтобы зажечь свет, был сильно напуган. Из комнатки Федора Казимировича кто-то метнулся через весь зал, вскочил на подоконник и, распахнув окно, выпрыгнул наружу. От испуга Валька не разглядел его, да и темно было, только отметил, что был этот некто небольшого роста. Валька прибежал в общежитие, уговорил меня, и мы отдежурили ночь вместе.

И вот мы с Федором Казимировичем обсуждаем этот инцидент. Он ходит между столами, подкручивает вентили на столах, поправляет простыни на трупах, тянется к шпингалетам на окне, вот придавил пальцем большую черно-перламутровую муху на стекле, вытер палец о голенище, прерывисто, некоординированно жестикулирует, что-то пытается говорить, двигает губами, гримасничает, и я опять начинаю видеть в нем те жуткие черты, но встряхиваюсь, стараюсь отогнать видение.

Валька утверждал, что вчерашний тип попал в секционный зал через подвал, другого входа не могло быть, потому что он в начале дежурства обошел и запер изнутри все двери. Федор Казимирович согласен с этим доводом.

«И-и-дем-ка т-т-туды», – сказал он мне, и мы движемся с ним в левый от входа угол, где в нише, на подъемнике, стоит каталка и рядом – узкая фанерная дверь. Раньше мне «туды» спускаться не приходилось. По крутой железной лесенке я, чуть не наступая ему на голову, спускаюсь в подвал. Сырой холод и жуткий запах. Под лестницей горит яркая лампочка, но ничего не освещает – свет ее почему-то не распространяется. Подвал залит мраком. Немного адаптировавшись, я различаю на противоположной стене полукруглое оконце, выходящее в колодец под стеной во дворе, но оно не дает света, просто обозначает стену. Затем проявляются на полу продолговатые, похожие на крышку гроба тумбы, несколько в ряд у левой стены. На одной из них – нечто раздувшееся и бесформенное, оттуда идет этот невыносимый запах. Мы огибаем дощатую стенку, разделяющую подвал. Я стараюсь дышать спасительным теперь быстро ослабевающим ореолом тройного одеколona, которым обильно поливается Федор Казимирович после работы. И вот оказываемся на другой половине, где ощущается струя воздуха, и я вижу чуть приоткрытую дверь в правой стене, куда уже спешит мой Вергилий. И тут я краем глаза, мельком, потому что мчусь к двери, вижу у его ног трех огромных крыс, бегущих цугом, тела их, под гладкими шкурками, змеятся при движении. Продравшись сквозь плохо открывающуюся дверь и прыгая через хлам на лестнице, я вырвался наружу.

Во дворе пахло травой-муравой. Около заборов, пробиваясь сквозь прошлогоднюю траву, прорастала лебеда, курчавые островки травы-муравы зеленели в центре двора у теннисного стола. С корявых яблонек около крыльца редко и плавно падал цвет. Снизу раздались взволнованные призывы Федора Казимировича. Я с опаской перегнулся через перила. Федор Казимирович стоял у двери и дергал ее за ручку. Взволновало его то, что большой амбарный замок был вырван вместе с петлей. Дверью этой давно не пользовались с тех пор, как построили

лифт, и лестница под навесом была завалена хламом: ящики, кипы старых бумаг, сломанная больничная койка, мусор. Петля не была вырвана вчера. Она легко вынималась из разработанных отверстий – ею пользовались. Сверху стал просматриваться в захлавленном беспорядке проход, сразу незаметный. По нему, гибко лавируя, поднимался Федор Казимирович.

– Ладно, завтра с утра заколочу, – пообещал он.

Был он снова спокоен и неуклюж. Потом он прошел через двор в сарай и вышел оттуда с кирпичной хозяйственной сумкой, туго набитой, и мы, обойдя здание по проезду, вошли с центрального входа. Он передал мне ключи, взял еще одну наглухо застегнутую черную сумку и, пожелав мне спокойной ночи, удалился.

И уже на втором этаже, когда проверял, не остался ли кто еще в лаборатории, заперты ли все двери, я стал ощущать подвал. И потом внизу, задвинув дверь секционного зала изнутри, оставшись в кабинете, я все время ощущал его, как, наверное, вдруг заболевший человек начинает чувствовать больной орган – сердце ли, почки ли, желудок...

Задернув шторы от низкого уже солнца, я прилег на кушетку почитать. Читал около часа. Потом прервали: приходили двое снимать мерку. Умерший был работником горисполкома. Утром на кафедральной планерке дежурные врачи докладывали об этом случае. Поступил ночью в астматическом статусе, из которого вывести не удалось. Предполагался анафилактический шок.

Один из пришедших, видимо, родственник, другой – сослуживец. Родственник сокрушался, что умерший никогда не болел, был здоров, выражал сомнение лечению. Сослуживец молчал. Труп был еще не вскрыт. На вид ему было больше указанных 56 лет, впрочем, по трупу судить трудно, и был он совершенно лыс.

Проводив их, я снова углубился в чтение. Книга была трудная и завораживающая. Тягостная её атмосфера вызывала протест и смутно что-то напоминала. Как иной раз во сне явление, которое наяву не вызвало бы никаких эмоций, начинает давить скрытой, невнятной угрозой, и ты не можешь отделаться, убежать от нее. Эти сумрачные лестничные пролеты, жаркая духота и вязкие диалоги – откуда были мне смутно и зловеще знакомы? Из снов? Из прошлой жизни? Из будущего? Намного позже, уже окунувшись в другую жизнь, я дотягивал благодаря этой книге до прозрения иного момента, его зловещности, который иначе мог бы проскочить как обыденный, не ужасая и не потрясая.

Но тогда я все же не выдержал, не дочитал эту вещь, перескочил на следующую. Там описывалось превращение одного коммивояжера в некоего звероящера, и после непонимания и острой жалости я почувствовал вдруг необходимость для него этого превращения, его побега. А в конце, когда несчастный все же умер, я просто физически ощутил чувство облегчения, охватившее его родных. Великолепное, поэтическое ощущение утра в городе, одним штрихом переданная скульптурная красота сестры коммивояжера – все это врезано в моей памяти до сих пор.

Когда я закончил чтение, уже начало темнеть. Я вышел на заднее крыльцо. Стало прохладно. С реки дополз запах водорослей. По двору носился с какой-то тряпкой Шарик – черный продолговатый пес. Из-за угла бесшумно проковыляла Фенька – старуха из избушки. Фенька прикрикнула на Шарика, нарушив тишину, и сразу стало слышно, как она шумно дышит. Она попросила набрать воды. Я спустился и взял у нее в сенцах ведро, набрал воды под краном в кабинете и отнес ей до порога.

Была она неразговорчива, лицом напоминала сову, только нос не крючком, а курносый, глаза круглые, немигающие, ходит согнувшись, опираясь на палку, но голову держит вертикально, кривые ноги широко расставлены. Ходит, будто намочила в штаны и вот идет переодеться. Носила она почти постоянно старую стеганую телогрейку, даже летом. Иногда она просилась помыться под душем, и я ее пускал. Долго потом после нее оставался запах прелой мочи, из-за чего мои напарники ее не пускали.

Раньше она одна работала на нашем месте, где нас теперь трое. Людмила, секретарша, объясняла Фенькину замену скверностью ее характера, мол, она сплетничает, пишет жалобы на пьянство экспертов, доказывает, что Федор Казимирович продает на барахолке вещи покойников. Была она сослана откуда-то из-под Ростова в годы раскулачиваний, здесь с мужем устроилась в конце 40-х годов. Муж ее еще лет десять назад возил нашего шефа на бричке и числился конюхом. Он умер, падчерица живет своей семьей, и Фенька теперь одна.

Я вернулся в кабинет, размялся с гантелями, почитал еще, заварил чай, выпил чашку, закурил. Подвал не отпускал. Почему-то вспомнились непривычно пружинистые движения Федора Казимировича, крысы у его ног. Вдруг стало казаться, что он ни разу не заикнулся. Где-то глубоко под ложечкой ощущалась слабость. Нацарапав записку, пошел, мол, ужинать, не указывая часа, как мы всегда делали, я взял ключи и вышел. Во дворе уже были густые сумерки. С крыльца было видно, как вдали зажглись и замерцали огни плотины, на небо, еще светлое, всплывали из глубин редкие звезды. Фенькин домик насупился, сгустив вокруг себя темноту, и под ним угадывалась замшелая, ушедшая в землю курья нога. В оконцах света не было.

Я спустился с крыльца и, когда стал сворачивать за угол, стена дома стремительно повалилась на меня, я прынул и подпер ее. Огромная черная птица взмахнула крылом... Фенька, взобравшись на табурет, махала в воздухе клюкой.

– Ты что, Феня?!! – просипел я, продолжая крепко подпирать стену.

Она часто дышала, седые пряди выбились из-под платка, глаза сверкали, распахнутые полы телогрейки болтались как подбитые крылья, когда она махала клюкой, пытаясь что-то зацепить в воздухе.

– Феня, – сказал я, приходя в себя, – там нет проводов.

– Допрыгаетесь у меня, – прошипела она, слезая с табуретки.

Я помог ей, отнес табурет до калитки, и она, бурча под нос, исчезла в избушке.

Валентин считался у нас меломаном. В то время транзисторные радиоприемники были редкостью, а счастливые обладатели «Спидолы» на вечерних променадах по Большой, выглядели принцами крови. Валька пользовался радиоточкой. Дома у него постоянно звучал приемник, а здесь, на работе, он стал пользоваться Фенькиной радиоточкой. Он взбирался на крышу избушки и протягивал оттуда проводки к угловому окну нашего кабинета. Феньку это возмущало: я плачу, а он без разрешения пользуется. Она умудрилась рвать проводки длинной палкой. Война эта была затяжная. Смешно было видеть, как Фенька профилактически «прочесывала небо» своей палкой. С чего это она сегодня вступила на тропу войны – было непонятно: Валька давно оставил ее в покое.

Я прошел боковой дорожкой через сквер мимо приемного покоя и вышел на набережную. Со стороны набережного бульвара, из сумерек деревьев, где мелькали огоньки сигарет, доносились приглушенный смех, шарканье подошв – был тихий майский вечер. Народу на бульваре было много, все не спеша прогуливались. Это мерное движение в темноте, в сгущенном запахе

молодой листвы и цветущей черемухи, приглушенные женские голоса, их таинственность и грация делали этот вечер очаровательным. Небо на северо-западе еще светилось низкой бледной полосой, город притих, затаился в сумерках, словно ожидая чего-то, и вдруг, на том берегу, прямо под светящейся полоской неба, вспыхнули огни вокзала, и... наступила ночь. Через минуту зажглись фонари на бульваре, залив все мертвенным неоновым светом, звуки стали ясные, резкие тени обезобразили лица, очарование пропало и ... ничего не свершилось.

Я прошел по набережной до моста, перешел на ту сторону, свернул налево в сторону вокзала и по извитой деревянной лестнице с множеством площадок на поворотах, поднялся на обрыв и вышел на улочку, засаженную тополями и черемухой. Метрах в пятидесяти ее пересекала другая улица, тоже тенистая и уютная, а за углом на противоположной стороне стоял одинокий четырехэтажный дом, дальше – большая шумная магистраль.

Я позвонил из телефонной будки. Она подошла к окну, помахала мне рукой и сказала, что сейчас выйдет. Ожидая, я стоял под тополем с низкой кроной у верхней площадки лестницы. Внизу шумел вокзал, шум его, смягченный деревьями на склоне обрыва, напоминал прибой. За вокзалом была видна река, в ней – отражения огней набережной, слева – цепочка огней моста, иногда по нему громыхал трамвай и звук его доносился ясно и не приглушенно.

Она бесшумно возникла из темноты, обволокла запахом кухни, домашнего печенья и теплом мягкого шерстяного мамино жакета, надетого поверх ситцевого платица, тихо смеялась, когда я целовал ее, легкими руками обвила мне шею, и лицо ее в темноте и вблизи казалось таинственно незнакомым и прекрасным. Все вокруг исчезало.

...Снег в ту осень выпал внезапно. Однажды утром я проснулся от необыкновенного света, заполнившего комнату. Из репродуктора лилась тихая музыка. Широкая минорная мелодия струнных всплескивалась вдруг сдержанно-ликующим соло трубы, и внутри меня все замирало от такого же ликования и этого необыкновенного света, сиявшего вокруг и во мне. Снег лежал на выступе окна, на ветках дерева перед окном, на скате крыши напротив и давал это необыкновенное свечение. Много лет спустя, стоя перед картиной Вермеера «Девушка с лютней», я вдруг увидел этот свет, льющийся из окна и такой же свет излучало лицо этой девушки, и так остро и тоскующе я почувствовал ее состояние, ее свет, ее тепло и, может, впервые – что такое живопись. Я еще немного полежал, лелея в себе это состояние, изнывая от нежности к Тебе, потому что мне приснилась Ты и была причиной этого необыкновенного утра. Это непостижимо: Ты, просто однокурсница, вдруг влетела в мой сон и заполнила собой все.

Потом я встал, умылся, перекусил и пошел на занятия. Снег уже начал подтаивать, и от этого пахло мокрыми древесными стружками, и было свежо и чисто, и я шел, шел и шел, и под ногами поскрипывал первый снег, и дышалось легко, и во мне была Ты, Ты и только Ты. Потом я пришел в клинику и спустился вниз. Прошел длинным-длинным коридором к раздевалке, свернул направо... там стояла Ты, вся в белом, и над воротничком халата нежно голубела Твоя шея. Я подошел, легко прикоснулся к Твоему локтю и сказал: «Здравствуй, Таня». Ты мягко, как бы на миг прильнув и слившись со мной, сказала: «Здравствуй».

Я проводил ее до дома, и она растворилась в окружающей его темноте. Через некоторое время засветилось окно на втором этаже, и еще долго я видел ее силуэт с прощально поднятой рукой.

На мосту дул ветер, стало прохладно. Я постоял, наблюдая течение под мостом, смотрел, как вода бурлила у опор, представлял ее бег в будущее, и будущее мне представлялось полным встреч и прощаний.

В черной дыре аллеи шум моих шагов шарахался в стороны, лампа над входом высвечивала желтый треугольник, никого не было перед дверью, не было живой души вокруг. Я прошел по проезду во двор, пожалев, что не оставил свет в кабинете и, когда проходил мимо Фенькиной избушки, услышал стоны. Оконце ее светилось. Я заглянул. Она стояла без телогрейки и платка, лицо горело, глаза невидяще смотрели куда-то выше окна, и она махала перед собой веником.

Заскочив к себе, на ходу включая все лампы, я бросился к телефону. Сказал Вальке, что Фенька сошла с ума и попросил его прийти ко мне.

– Да чего ты испугался-то, вызови «скорую», и все дела, – и пожелал спокойной ночи.

Набрал «03».

– Скорая, – ответили на том конце провода.

– Высокая температура, – сказал я

– У кого?

– У Феньки.

– Фамилия, адрес, возраст?!

Никак не мог вспомнить ее фамилию, адрес и сказал:

– Я из морга звоню, она тут рядом...

– Идиот! Отбой!

Больше звонить не имело смысла. Я не знал что делать. Осадок после разговора с Валькой стал густеть и подниматься. Все мы восхищались Валькиными трюками. После 4-го курса он решил перейти на военный факультет, но у него был белый билет. Потом оказалось, что он прошел комиссию. За лето он передумал и, чтобы снова восстановить свой белый билет, целый месяц изображал больного в клинике. Во время этой эпопеи он уволился с работы, и на его место устроилась женщина, которая приходила делать уборку в конце рабочего дня. Вера – тихая косноязыкая женщина лет тридцати, мать-одиночка с шестилетним пацаном. Проработав лето, она к осени уволилась. «Никак не могу перестать бояться», – сказала она. Так Валька снова оказался на своем месте. Спустя полгода за бутылкой водки Валька в лицах изобразил нам смешную историю своего возвращения. Мы покатывались со смеху, когда он изображал, как он с камушками во рту звонил Верке на дежурство, как ночами скреб палкой в окна кабинета, кряхтел под дверью.

Дверь была не заперта, и я вошел. Фенька лежала на кровати навзничь, мелко и часто дышала. Пульс был частый и слабый, лоб – сухим и горячим. Она открыла глаза и попросила пить. После воды ее зазнобило. На комодке я нашел градусник, вставил ей под мышку. Стал искать лекарства. В металлической коробке из-под «Монпансье», кроме пожелтевшего анальгина, я ничего подходящего не нашел. Включил плитку и поставил чайник. Градусник показал 39,3.

Во дворе было светло от окон кабинета. В боковой аллею мусорный ящик больно двинул меня по ноге.

Евдокия Васильевна, сестра приемного покоя, ворчала: чего из-за Феньки так волноваться, не пропадет, иди сам проси дежурных врачей, они там заняты с инфарктным, а то и

сам не маленький – на пятом курсе уж. Я поднялся в хирургию, в операционной дежурила Света, моя однокурсница, она и до института здесь работала. Я рассказал ей про Феньку. Идти со мной отказалась – нужно было отпрашиваться у дежурного хирурга. Собрала мне в стерильный лоток шприцы, дала ампулы, спирт, лекарства.

Феньку трясло, на лбу появилась испарина. Я сделал ей инъекции, разобрал под ней постель, укрыл. На лоб положил мокрое полотенце. Заварил чай, дал ей выпить с аспирином, после чего она уснула.

Избушка была крохотная. Я свободно доставал до потолка рукой, а от лампочки приходилось все время уклоняться. Почти у самого входа, в метре от него, стояла печь, разделявшая избушку. За печкой – кровать и шкаф. В углу напротив – комод, перед ним круглый стол со спущенной одной стороной, чтобы плотнее стоял у стены. Три старых венских стула в парусиновых чехлах. Справа у входа – старый желтый буфет и перед ним - кухонный стол; между ним и печкой – как бы вход в комнату. Полы неровные, половицы хлюпают. Перед кроватью – половичок, сплетенный из лоскутов. На стене – коврик с оленями, пожелтевшие фотографии в одной рамке под стеклом. Комод застлан салфеткой, на ней по углам гладью вышитые фиолетовые и зеленые цветы, а в центре – две серые птички на коричневой ветке. Будильник, пластмассовая шкатулка, коробка из-под «Монпансье». На узеньком подоконнике – старый, 1952 года издания, учебник по истории для 4-го класса, который использовался как подставка.

Фенька начала постанывать. Я поменял полотенце. Она сильно потела, и подушка стала влажной, волосы слиплись на лбу. Она спала.

Я взял учебник, стал листать и сразу вспомнил его – учился по такому. Со страниц замелькали штурм Зимнего, Чернышевский с дощечкой, силуэты повешенных декабристов, Пугачев с черными усами подковкой и бородой, хан Батый с луком и косичкой, скифский гребешок, картинки древнерусской жизни, где изображены ремесленники: гончар крутит круг, кузнец кует, скорняк с мехами, крестьянин пашет, тут же скот, собаки. Таким и осталось у меня со школы представление об истории – скученность.

Тем временем проснулась Фенька. Из-под одеяла, когда она стала ворочаться, вырвались пары, насыщенные потом и мочой. Попросила чаю. Я сделал ей инъекции, поставил градусник. Было около двух часов ночи. Жар заметно спал – на градуснике было 37 с половиной.

– Докуражился ведь он, – прошептала Фенька.

– Что?

– Я тебе одному скажу...

– О чем, Феня?!

– Это он, Новиков...

– Какой Новиков?

– Исполкомовский...

Около месяца назад, после долгих и упорных попыток, Фенька попала на прием к секретарю. Она больше десяти лет состоит в очереди на квартиру. Периодически к ней приходили открытки, где указывался ее номер. Однажды ее очередь приблизилась к первому десятку, потом ее отнесло за второй, и с тех пор открытки пропали. И она поняла, что не доживет до новой квартиры. В исполкоме надеются на то, что она скоро помрет.



И вот секретарь уговаривает ее пойти в дом престарелых. Он объяснил ей, как там хорошо: никаких забот, сыта, обута, одета будешь. Он был исполнен добрых побуждений, но Фенька добра не приняла. Кричала, что скорее сдохнет, чем пойдет в богадельню, но прежде напишет «филитон в ЦИК» о том, как очередь назад двигается. Тому это наконец надоело и, черкнув резолюцию в исполком «разобраться и порешить вопрос», выпроводил ее.

Фенька довольно скоро добралась до председателя. Этот говорил с ней вежливо, на «вы», долго расспрашивал, спросил, почему дочь не берет к себе. Фенька быстро отреклась от дочери, сказала, что неродная, что у той муж и двое детей в двухкомнатной квартире. Получив квартиру, Фенька планировала фиктивный развод дочери, чтобы квартира осталась за ней и внуками. Она пустила слезу, когда председатель вышел на тему дома престарелых. Дескать, не хочу дочь позорить, хоть и неродная, но все же... Что люди скажут? Стала жаловаться, как мерзнет зимой в своей халупе, как воду таскает... Председатель молча слушал, потом кивнул лысому, спросил какую-то сетку, пометил там карандашом и сказал: «Ну что ж, Иван Митрофанович, в следующий раз придется». И Феньке: «Ну что ж, бабуся, поможем. Внесем вас в список нового дома, который скоро сдаваться будет». Назвал адрес. Фенька расплакалась, пожелала долгие лета, норовила поцеловать руку. Председатель успокаивал ее, проводил до двери, просил с документами и со всеми вопросами обращаться к Ивану Митрофановичу Новикову, он поможет. Новиков вывел ее в приемную, ласково так говорил с ней, просил зайти завтра прямо к нему, назвал номер кабинета. Умиленная Фенька расцеловала ему руку и ушла.

И начались ее мытарства. На другой день, когда она явилась к Новикову, тот долго не поднимал головы от бумаг, потом, как бы вдруг увидев ее, не узнал, холодно спросил:

– Вы по какому вопросу?

– Как по какому, милоч? Все по тому же, сам вчера сказал зайти.

– Вас тут сотни ходит, и все говорят, что я просил. Выйдите, и вас вызовут, когда надо будет.

– Да ты что, милоч? Я же Дунаева, вчера мы у председателя виделись, он запись произвел.

– Во-первых, вы мне не тыкайте, а во-вторых, я уже вам все объяснил.

Фенька, похолодев внутри, собралась поднять крик, но побоялась испортить дело, стусевалась и вышла. Очередь в этот день до нее не дошла. На второй день товарищ Новиков был на совещании.

Через неделю:

– Я Дунаева Аграфена, меня председатель записал в дом, который сдаваться будет.

– А я-то тут причем?

– Да тебе же, лысый черт, он приказал оформить меня, вот документы, – кричала Фенька.

– Я прошу не оскорблять меня, я при исполнении... И прошу вас, выйдите!

– Нет, не выйду!

– Нет, выйдите!

– Нет, не выйду!

– Тогда я выйду, – и он аккуратно закрыл папку, взял ее под мышку и направился к двери.

Фенька плакала, плевала вслед, пошла к председателю, но его не оказалось. Секретарша сказала, что нужно за неделю вперед записываться, чтобы попасть на прием.

– Да знаю я, – кричала Фенька, – автоматом бы вас всех переписать, кровопийцы проклятые!

Машинистка испуганно выскочила и через три-четыре минуты пришла и сказала:

– Зайдите к товарищу Новикову.

– Гусь свинье не товарищ, я только что оттудова.

– Нет-нет, вы зайдите, Иван Митрофанович вас примет, он сказал, – щебетала молодуха.

Фенька приползла опять к Новикову. Тот стоял у стола, телефон прижат плечом к уху, показал ей рукой, проходите, мол, и в трубку:

– Значит, через месяц, да? Комиссия не принимает? Ясно... – и положил трубку.

– Вы слышали, дом будет сдаваться через месяц, приходите через две недели, все, – и углубился в бумаги.

Фенька, чуя обман, от ненависти и бессилия не могла вдохнуть, только сказала:

– Смотри, Новиков, обманешь – глотку разгрызу.

Новиков вздрогнул от этого шипения, поднялся было, но Феньки уже и след простыл.

Через два дня Галина ездила смотреть – дом уже заселялся. Две ночи не спала Фенька от обиды и бессилия, днем тоже лежала без сна, ведя бесконечные и бесплодные диалоги, ощущая при этом непонятное, неиспытанное ранее томление тела, не могла она никак пристроить его удобно. Она не чувствовала боли и напряжения, но понимала, что иссякают силы. Вчера под утро вдруг почувствовала облегчение, поднялась, попила чаю и вышла на улицу.

Утром, пока санитары бегали вокруг морга, пытаюсь разбудить нас с Валькой, она подошла к носилкам, откинула простыню и ужаснулась.

– Господи, прости! – шепчет она.

Снова она впала в забытие, снова поднялась температура. Я сделал ей жаропонижающее, смочил полотенце и вышел.

Уже светало. Галдели воробьи. Я сел на теннисный стол и закурил. Стол был старый и расколотый. Щели уже забились землей, и летом, когда никто им не пользовался, прорастал по щелям травой. Пользовались мы им обычно весной, когда после долгой зимы устраивали вокруг него чуть ли не олимпийские игры. Собирались почти всей группой. Играли навывлет в настольный теннис, отжимали гири, прыгали в длину с места, играли в чехарду, и так каждый день, до темноты. Потом постепенно все стихало. В сессию иногда собирались по два-три человека, но быстро расходились. Мы с Валькой готовились к экзаменам здесь. Читали допоздна, болтали, пили чай, а спать ложились во дворе, на этом столе.

Лежали ночью во дворе, над нами в бездне, в глубине, висели звездные миры. И мы, распяты на земле, на этом пьяном корабле, готовом разлететься к черту, несемся мимо Псов, Медведиц и невероятнейших Флорид, в бесстрастном хаосе вселенной. И не о мелочи разменной наш разговор... И остро пахнет лебедой. О небо трутся тополя, и дом касается трубой о дно Ковша, и не грозит ничто бедой, и кажется, ей срок отсрочен... Как коротки в июне ночи! Вот накренился Ковш над крышей и пала на землю роса, а разговор наш не окончен. С реки дополз туман тяжелый, и размывается восток невидимой кистью света...

И сон, усталость и восторг! Прекрасны летние рассветы!

Будил нас утрами Федор Казимирович. Он ворчал, расталкивая нас:

– Валяетесь тут, скоро недобитки придут, а вы лежите.

Я затоптал окурок и поднялся в кабинет. Потушил свет и, сидя в кресле, смотрел, как занимается заря над сараем. Будущее, которое вчера было далеким и радужным, стояло у порога. Я ощущал усталость и пустоту. Потом пришел Федор Казимирович. Я еще раз зашел к Феньке. Она спала, опять мокрая и горячая. Щеки у нее хлопали как паруса. Я сказал Федору Казимировичу, что Фенька заболела. Он пообещал позвонить дочери.

Уходя, я зашел в секционный зал, откинул простыню с трупа Новикова, взглянул на шею. Потом задернув простыню, я быстро вышел.

За окном пустынные деревья вздрагивают поникшими ветками и, словно флаги разгромленного лета, вяло колышутся на них последние, желтые листья. Вот и кончились яркие осенние дни со сверкающей золотой листвой и прозрачными далями, а синее глубокое небо стало серым и плоским, и какая-то нежданная грусть струится с него на землю.

Я стою у окна в общежитии. Шестой курс. Последняя осень в этом городе. По подоконнику ползает маленькая черепаха. Я пытаюсь прислонить ее к оконной раме, чтобы она могла выглянуть в окно. Но она скребет лапами и заваливается.

Потом я иду по Больничному переулку мимо зарешеченных окон психиатрической больницы, откуда доносится протяжное пение, затем мимо медицинского училища, через двор больницы – на дежурство. Аллея завалена листьями. Гуляет ветер, шебаршит, взвихряется. На мраморном крыльце, очищенном от листьев, стоит маленький человек с обвислыми белыми усами в обрамлении арки и поздней осени. Справа, на воротном столбе, сидит огромная сова.

Здесь мы меняемся с Федором Казимировичем местами: я остаюсь навсегда стоять в рамке, прислонившись к дерматиновой двери и одновременно медленно-медленно начинаю всплывать вверх и, поднявшись, вижу отсюда островок оголенного парка, зеленую крышу, аллею, присыпанную золотой пылью и бредущего по ней человечка с неразличимыми уже сумками.

Фенька умерла в августе, когда я был на каникулах. Вскрывал ее Эдуард Фокич – пьяница и балагур.

– Эх, Фенька, черти б тебя забрали, если б я не обещал когда-то тебя вскрыть. Ну да ладно, Бог простит. Сделаю *legi artis*.

В августе же вышла замуж Таня.

Безумной Офелией в желтом, с багряным венцом на челе, с молитвой и с грустной песней утонет эта осень во мне...

1995 год